

Наталия Дробинина

Noli nocere

*Я хотел бы казаться**Кем-то нужным и смелым.**Разреши мне касаться.*

Из песни группы «Немного нервно»

I.

Я боюсь пауков и детей.

Пауков.

И детей.

Но если контакта с первыми можно как-то избежать, в крайнем случае — минимизировать, то со вторыми не получится.

Потому что моя профессия — учитель. Педагог. Сеятель разумного, доброго, вечного в светлые детские головушки.

Я расскажу эту историю так, как запомнила её в ту сложную ночь. Если вы ждёте нашествия акромантулов или бунта трудных подростков с ножичками и заточками, то, спешу вас разочаровать, этого вы здесь не найдёте. Трудные подростки и правда будут, но совершенно безоружные, а нечто насекомообразное может воплощать липкий неприятный страх, бегущий вдоль позвоночника стайкой косиножек, вонзающих свои холодные лапы-иглы в тонкую кожу.

II.

Это было лето 2019 года, Пермский край, Летняя выездная межрегиональная экологическая школа. Кажется, юбилейная, пятнадцатая по счёту, но это не важно.

Я уже не первый раз приезжаю сюда главной вожатой в составе делегации родной гимназии. И если наши ученики подчиняются напрямую историку Марине Ивановне и относятся только к Вологодской области, то я — гражданка экспедиции. Я принадлежу всем тридцати делегациям сразу — и никому, кроме себя.

Я знаю всех птенчиков, которых мы сюда привезли, не только в лицо — зимой я проходила на них педагогическую практику. Это только звучит высокопарно и красиво, а на деле ты везде и всюду со своими классами, от звонка в восемь утра и до звонка с последнего факультатива. Как

шпион, отличаешься пытливым внимательным взглядом и ведёшь в блокнотике психологические наблюдения за учениками, методические — за учителями. Жуткое зрелище, эдакая пародия на легендарного Штирлица, так не похожая на беспечную и смешную меня.

Да, я знаю о них всё: семейное положение, рост и вес, прозвище. Знаю, как они ведут себя в коллективе, кого любят и что ненавидят. Знаю, как они предпочитают справляться с трудностями и решать конфликты.

А сегодня некоторые из них переживают лето переходного года.

От малышей, семиклассников и восьмиклассников, — Коли, Димы, Максима и Никиты — проблем ждать не приходится. У них свои мальчишеские заботы: окопка палаток, чтобы они не поплыли от бесконечных пермских дождей, футбол и купание в Каме минимум раз в день. Девчонки — Настя, Валя и Алёна — тоже не доставляют хлопот. Три художницы, три поэта, три грации — какие с ними сложности?

Но есть парочка, при виде которой я испытываю неконтролируемое желание сбежать и укрыться. Желательно — подальше от наших палаток. Я боюсь их, своих десятиклассников, Арсения и Тимофея.

Особенно Арсения.

УТиши и Насти с первого же дня в поезде наметился тет-а-тет, который, разумеется, продолжился в форме полуночных свиданий на берегу Камы, под мои совершенно неромантические наблюдения за ними из кустов (о них никто, разумеется, не догадывается). Но пятнадцатилетние Ромео и Джульетта, с их высокими чувствами и полной гармонией в отношениях, постепенно успокаивают мою тревожность и позволяют ослабить контроль. Тем более с ними и так присматривают Влад Игоревич и старшие ребята, которые сидят неподалёку у костра.

Но у меня есть другой повод для волнений. И он связан с тем, кто прямо сейчас в своей палатке переживает две настоящих драмы: разрыв дружбы с самым близким товарищем и крах

первой любви к пряничной девочке из Тулы. Я знала, что в такие ночи нужно быть где-то рядом. Никто не должен оставаться один на один со своими демонами.

Тогда всё это и случилось.

III.

Я вышла из штаба, тяжело вздохнула и устало потёрла переносицу. День был трудный: мы организовывали большой квест для десяти команд, а вечером на костре дружно перешли экватор двухнедельной экспедиции, что всегда воспринимается как некий обряд. Хотелось поскорее забраться в спальник и забыться прекрасным сном без сновидений под боком у Марины Ивановны. Если она, конечно, не верстает новый выпуск газеты в пресс-центре.

Прежде, чем я смогу позволить себе отдохнуть, мне нужно проверить детей. Во-первых, здесь каждый день, каждый час льёт дождь, поэтому мне нужно понять, не протекают ли наши палатки. Во-вторых, я должна удостовериться, что все места в них заняты согласно купленным билетам. Под звёздочкой: количество учеников должно соответствовать количеству привезённых спальников.

Раз, два, три, четыре, пять — я иду считать!

Подпрыгиваю, чтобы хоть как-то взбодриться, накидываю капюшон дождевика и, по щиколотку увязая то в грязи, то в глине, отправляюсь к оврагу, на краю которого мы и владимирская делегация (почти по алфавиту, если бы тут ещё была волгоградская, но она предпочла лесистому обрыву надёжную поляну) разбили лагерь.

В первой палатке — палатке младших — всё тихо. Она на совесть окопана Колей, на дне канавы плещется вода, но ничего критичного в этом нет. Делаю круг почёта, просвечивая фонариком, как овоскопом, внутренность походного дома. Четыре тени — всё спокойно. Они ещё и спят — какая редкость и какая радость для любого, кто ответственен за их жизнь и здоровье!

Во второй палатке — небольшое отклонение от нормы: четыре тени вместо положенных трёх. Бесцеремонно открываю вход и проскальзываю внутрь. Валя с Алёной в обнимку спят в одном углу, дальше гитара, неизменная спутница делегации, и сразу за ней сидят в спальниках, как в пледах, Настя и Тиша, смотрящие на меня умоляющим взглядом. Я поджимаю губы и качаю головой. Впрочем, мы все знаем, что это означает.

Я нарушила примерно половину правил педагогической этики за одну минуту. Но если бесконечно следовать букве закона — можно ли стать по-настоящему хорошим учителем, который, как нам внушают, должен быть другом и старшим товарищем?

Показываю на запястье, где в тусклом свете опущенного фонаря блестит циферблаг часов.

«Чтобы в шесть утра был в СВОЕЙ палатке. Я понятно объясняю?»

«Ты лучшая!»

Настя ничего не говорит, но в голубых глазах, в их двойной звёздной системе, я вижу бесконечную благодарность. Рукой провожу по полу — сухо. Палатку девчонок мы ставили на ельнике, у них любая течь будет скорее исключением, чем правилом. Если они сами, конечно, ничего не прорежут и не порвут.

Я не хочу оттуда уходить, из этого тёплого весёлого приветливого дома, где мы часто поём и много смеёмся. Я не хочу возвращаться к своей палатке, потому что рядом с ней есть третья, которая стоит входом к нашему входу. Глаза в глаза. Лицом к лицу.

Главное — сделать первый шаг, а дальше будет легче. И я, неизящно выбравшись и застегнув молнию, поправляю дождевик и поворачиваюсь назад.

Синяя двухместная палатка. Тоже окопанная и тем же Колей. Ну что может произойти, когда мы так хорошо подготовлены? Может быть, на фиг эту проверку?

А если у него опять спальник сырой, как два дня назад? У них в углу палатки затекает, мы их проклеили, конечно, но здесь уже ничего не поможет.

Вздрагиваю, чувствуя, что снова начался дождь. Промокнуть под ним не так страшно, как открыть вход в чужой дом.

Я на секунду.

Арсений спал. Чтобы не выпускать тепло наружу (одному надыхать палатку, когда за бортом едва ли четыре градуса, трудно, а сосед явится под самое утро), я зачем-то скидываю сапоги и осторожно снимаю тонкую куртку, сворачивая её рядом (не хватает ещё притащить за собой хвост из воды и грязи). Забираюсь внутрь, сажусь, подбираю ноги, на край чьего-то пледа, раскинутого наподобие ковра, чтобы не тянуло холодом от земли.

Ну что же, спальник сухой. Дотягиваюсь, извернувшись, до другого угла — тоже сухо. Миссия пройдена, можно теперь и самой спать лечь. Бодро хватаюсь за молнию, готовая через миг выбраться наружу.

«Останься. Пожалуйста».

IV.

Мне становится так холодно, будто я стою там, под этим проливным дождём, без трёх своих водолазок, в одной лёгкой майке и коротких шортах, по щиколотку в липкой глине. Там, на просторе, а не здесь, в маленьком замкнутом пространстве.

Мне становится не по себе.

Арсений вылезает из спальника по пояс, щурится, поправляет ворот свитера. Конечно, он не спал. Конечно, он ждал. И конечно, не Тимофея.

Он знал, что я приду, потому что я всегда прихожу к ним по ночам не то злой волшебницей, не то доброй феей.

Его пробирает дрожь, я замечаю это только сейчас. Многозначительно показываю на свою университетскую толстовку. Он резко качает головой.

Он всё делает резко, и это пугает ещё больше: никак не угадаешь, чего ждать от него через минуту. Не люблю непредсказуемость.

«Мне нужно с тобой поговорить».

Голос, низкий и хриплый, сломан.

Я знаю, скольких усилий ему стоило вот так вот попросить о помощи. Ему, подчёркнуто самостоятельному, отчуждённому, колючему. И о помощи он просит меня. Меня! — студентку, только окончившую второй курс вуза, растерянную, удивлённую этой ночной встречей не меньше его самого.

Я ищу пути отступления. Тщетно — из палатки всегда только один выход, и я только что сама себе его безжалостно отрезала. Зашила, застегнув молнию. А вокруг лопатой Коля очертил круг. Защитный ли? Запирающий ли?

Приглядываюсь, погасив фонарь. У Арсения длинные растрёпанные, будто наэлектризованные, волосы и бледная кожа. Острые скулы и тёмные злые глаза с нехорошим нервным огнём. И этот огонь особенно пугает.

Он младше меня всего на каких-то пять лет. Я, кажется, должна быть мудрее, умнее и опытнее. Но так ли оно на самом деле? Поможет ли сейчас учебник по педагогике, который мы читали? Или аффирмации декана, исчерпывающиеся формулой «в школе хорошо, в школе прекрасные дети, которые вас очень ждут».

Да ни хрена они не ждут, и ни хрена там не хорошо. Вы никогда там не были, Алёна Валерьевна, ваши элитный лицей с вышколенными благородными девицами и учтивыми джентльменами — потёмкинская деревня. Вам никогда не было больно оттого, что ваши ученики каждый день становятся жертвами коллективной травли, учатся жить, потеряв родителей, или режут себе вены от несчастной любви. А ты, их учитель, ничем не можешь помочь, по рукам и ногам скованный федеральным образовательным стандартом, законом об образовании и директорским неодобрением таких откровенных и настоящих разговоров о важном.

Нас к таким ночам в вузе не готовят, даже не предполагают, что они могут случиться. Нас там выращивают, как растения в теплице, для идеальных школ, для ангелочков-детей, у которых нет проблем и второго дна, которые росли в благополучных полных семьях, которых не воспитывала улица.

Таких не бывает, теперь я это отчётливо понимаю. Все мы чем-то травмированы: гиперопекой, физическим или психологическим насилием, фобиями.

И это страшно.

Я выдыхаю, медленно, как перед прыжком в холодную воду.

Успокойся, так надо. Кого ты обманываешь? Разговор назревал давно, вспомни, сколько раз ловила его тоскливые тяжёлые взгляды, сколько раз он к тебе приходил, напряжённо молчал, а потом просил о какой-то глупости и убежал, как младшеклассник. Как он показал тебе место, где скрывались Настя и Тимофей, и сделал это с нескрываемым злорадством, полагая, что ты их отругаешь. И им будет плохо. Так же плохо, как ему сейчас.

Рано или поздно это бы произошло. Даже лучше, что сегодня, ровно в середине смены. Следующую неделю, возможно, мы все проживём легче. Либо нам всем будет одинаково паршиво, но хотя бы одному станет лучше. Чему учат на педагогическом, так это умению идти на жертвы. Особенно когда рассказывают историю о пеликане — символе учительства — с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы культивировать у студентов стойкую нелюбовь к профессии.

Сажусь напротив него, по-прежнему поджимая под себя ноги, скрещиваю на груди руки. Потом, вспомнив психологию, кладу ладони на колени. Я открыта к диалогу.

«О чём?»

Он разворачивается ко мне, и я впервые вижу в его глазах слёзы. Непрошенные. Неправильные. Такие чужие для него и такие...

Дальше всё пойдёт неправильно.

Я жутко боюсь к нему прикоснуться, нам вообще запрещают тактильные контакты с учениками. Да, руку на плечо тоже нельзя: а вдруг расценят как, не дай Бог, домогательство? И даже приобнять нельзя: кто вам сказал, что ребёнок этого хочет и в этом нуждается?

Но что делать, если я касаюсь не ученика, а его души? Самого сокровенного и самого болезненного? Считать ли это нарушением? Преступлением, ведь я сейчас игнорирую закон об образовании и педагогическую этику?

Я кладу руки на его щёки — он не дёргается, хотя хочет, вижу, что хочет. Он позволяет мне так сделать, потому что именно это ему сейчас нужно.

Дрожу, но заглядываю в эту чёрную бездну, чтобы за показной импульсивностью и нервозностью увидеть настоящие причины. Увидеть его самого. А потом постараться не отпрянуть в испуге и выдержат всё, что он расскажет.

В конце концов, ему тоже страшно доверять мне. Он моргает, и мы оба падаем в омут памяти.

Сначала я вижу его в классе — недопонятого гения, объект насмешек, вечного шута. А ведь он очень умный, у него тонкое чувство времени и эпохи, он блестяще пишет исторические эссе. Сочинения по литературе, правда, далеко не так

блестяще, но его голова устроена совершенно иначе, и то, что он накатал мне по «Онегину» зимой заслуживало всяческого поощрения хотя бы за оригинальность. Правда, как все мы знаем, именно таких, инаковых и других, не любят больше всего. А детская жестокость границ не знает, и он понял это довольно быстро, тут же заняв оборонительную позицию и нацепив маску местного юродивого.

Потом я вижу его со скрипкой, эдакого Антона Рубинштейна, вдохновенного, отдающегося во власть музыки с той жаждой и жаром, на которые способны лишь настоящие таланты. Я буквально слышу, как лихо он играет «Куклу колдуна», а затем — нежного Чайковского. Для меня, потому что я в шутку попросила его об этом прошлой зимой, даже не ожидая, что он согласится.

Для меня...

Потом я вижу его семью и чувствую, что мои руки теплеют от невысказанной и непрошенной жалости. Дед-алкаш, беспробудно пьющий каждый день. Мать, уехавшая во Владивосток к новому мужу, оставившая сына с... этим. Фигуры отца просто нет, я не нахожу её ни в одном из уголков прошлого.

Нервный, сложный, импульсивный. У тебя всё всегда напоказ.

Всё, кроме самого главного. Того, чего глазами не увидишь.

«Мне страшно».

Он не произносит ни звука, но я понимаю всё. *«Мне тоже страшно. Если бы ты знал, как мне страшно за тебя сейчас».*

Я протягиваю руки вперёд и тут же прижимаю его к себе. Я чувствую, я знаю: он плачет от боли, стесняясь собственной откровенности и радуясь ей. Словно что-то внутри, засов, сдерживающий тьму обид, переживаний и чувств, открылся, хрупкая стеклянная преграда сломалась и то, что в нём так долго скрывалось и молчало, наконец обрело голос.

Как расстроенная скрипка, он плачет на моём плече, рассказывая свою историю. И мне она понятна без слов.

Я обнимаю его. Мои пальцы скользят по худой спине, считая позвонки, путаются в жёстких волосах.

Сумасшедшая мелодия в духе Стравинского, которая слышна только нам, бурное море непрожитых эмоций и непроработанных травм, накрывает с головой. И нужно, просто необходимо сохранять рассудок. Быть мудрее. Быть старше. Не навредить, обезвреживая мины (педагогический термин, между прочим), вытаскивая занозы и обрабатывая раны.

А могу ли я вообще его обнимать? А так могу? А вот так?

Он утыкается носом мне в шею и на какое-то время затихает. Он тоже меня обнимает — отчаянно, трогательно; боится, что я не выдержу

и уйду, потому что многие вот так вот уходили, когда он показывал себя настоящего, израненного, измученного, слабого. Поэтому мне страшно шевелиться, страшно от того, что я испытываю, что сейчас боюсь себя и его одновременно.

Но я не уйду. По-моему, я пытаюсь выдать что-то глупое и мотивирующее (а что ещё скажешь в таких случаях?), но это видится мне таким мелочным, что я молчу. И снова глажу его по спине, по голове, как в детстве, снова даю понять, что он в безопасности.

И тут он заговаривает. Тихо, шёпотом, уже совсем другим голосом. Голосом, который я запомню надолго и который больше никогда не будет так звучать. Треснутым, как старая пластинка, горячим, как слёзы.

Он расскажет мне о своих ночных кошмарах. О Лизе, в которую влюблён и которая влюблена в другого. О Тимофее, который, кажется, его предал.

«Тебе кажется».

Он расскажет мне о том, о чём ещё никогда никому не говорил: о мыслях о суициде, об алкоголе и запрещённых веществах, которые он успел попробовать. О ненависти к себе самому.

Что-то меняется, и теперь мне страшно не за себя, а за него и его хрупкую душу. Мне не по себе от того, что он пережил в свои шестнадцать. Что этот дикий огонь нелюбви обращён не на другого — на себя, что резкость и даже злость — удары, вгоняющие нож в собственное тело. Он боится себя, потому что не знает и не понимает. Напуганный, отталкивает от себя других, даже не дав им шанса прикоснуться к ранам.

Ты же даже в такие секунды не о себе думаешь, а о том, кто оказался рядом.

Что могу сказать я, книжная домашняя девочка, которая ничего серьёзнее шампанского на Новый год не пила и все друзья которой воспитаны в благополучных семьях?

Конечно, я понимаю, что он мне душу не просто так изливает. Конечно, это гормоны, это психологическая перестройка. Это синдром самозванца и низкая самооценка.

У подростков вытягиваются не только кости и сухожилия, но и нервы. Ведь личность растёт, а это всегда очень больно.

Может быть, я для него первый молодой взрослый, с которым можно поговорить вот так, без притворства и масок. Можно довериться и надеяться найти понимание.

Я не сделаю ничего, что предписывает должностная инструкция учителя. Я не уйду. Я не буду читать ему нотаций, как, разумеется, следовало бы. Я не расцеплю рук.

Я буду терпеливо говорить, что его любят, что он бесконечно талантлив, что всё происходящее происходит зачем-то и для чего-то: «чтобы ты мог

стать сильнее», «чтобы ты прошёл через травмы сейчас».

«Представь, как больно сломать руку в тридцать лет, когда она тебя кормит?»

И я ни разу не совру. Я буду гладить его по волосам и баюкать. Мне будет жутко и страшно, но я никому про это не скажу.

Каждое моё касание будет выверенным и точным, в меру дружеским и ободряющим, способным передать благодарность за доверие и искреннее участие. Каждое моё слово — уверенным и правильным, чтобы вытравить все ростки сомнений и противоречий. Ведь у меня, как у хирурга со скальпелем, нет права на ошибку.

А он всё ещё плачет на моём плече, делится тем, что нашёптывают ему внутренние демоны. *«Страшно не реализоваться, страшно потерять друга, страшно остаться одному. Страшно быть как дед, пробухать всю жизнь и сторчаться. Страшно оказаться непонятым.»*

Я по-прежнему сижу рядом и терпеливо слушаю его спонтанный сбивчивый монолог, ощущая, как с каждым словом и с каждой слезой его отпускает. Его дыхание становится глубже, а речь — медленнее.

Он успокаивается, залезает обратно в спальник, я помогаю его застегнуть. Он кладёт голову на мои колени, и я что-то рассказываю ему о себе, перебирая длинные непослушные волосы. Сказку о книжной девочке, которая сдала ЕГЭ, получила медаль и поступила в университет. Которая дралась с мальчишками во дворе и дерзила директору, а в вузе уже успела поругаться с деканом. У неё скверный характер, но она научилась с ним жить и даже считает его своей особенностью.

Пальцы путаются в прядях. Завтра я принесу расчёску и приведу тебя в порядок. Твою причёску и твои мысли.

Мой глупый. Мой хороший. Мой — кто?..

Друг. Потому что я чувствую, как педагогический барьер между нами рассыпался осколками, чудом никого не задев. Кто бы знал, что это, оказывается, так просто и так хорошо?

Он засыпает. Я невесомо целую его в лоб, как целовали в детстве меня, чтобы успокоить, и медленно вылезая из палатки. Как всегда, совершенно неизящно, зато аккуратно. Видимо, прихожу в норму.

Дождь заканчивается, с веток падают последние капли. Падают прямо на меня, холодные, отрезвляющие.

И никто не видит, что я сейчас плачу вместе с этим дождём, отчаянно и горько.

V.

Арсений когда-то показал мне обрыв, на котором по ночам сидят Настя и Тимофей. Он бы тоже хотел

там сидеть, но не с кем, а наедине с собой, особенно на высоте, страшно. Теперь я иду туда, потому что мне нужно побыть одной. Мне надо подумать.

Правда, успеваю из своей палатки выволочь спальник, с удовольствием отметив, что нашего историка там нет. Мы говорили без свидетелей.

Кидаю на мокрую траву коврик и с радостью закутываюсь в походное одеяло, замечая, что горизонт начинает прошиваться золотая полоса. Надо же, скоро рассвет. Наденюсь, он всем нам принесёт настоящее просветление.

Тревоги возвращаются.

Страшно, когда касаешься чужой души, когда, как хирург, иссекаешь поражённые ткани и зашиваешь раны.

Но те ли? Так ли?

Я — хирург. Мой скальпель — слово, мой тампон — касание.

Стало ли ему легче? Стало ли ему проще?

У врачей есть принцип: *poli posere* — не навреди. Говорят, что он исповедуется ещё со времён Гиппократов. Так вот — не навреди.

А не навредила ли я? Не ранила ли его? Здесь мой главный страх. Не сделала ли хуже своим ночным визитом и молчаливым согласием на сеанс психотерапии? Не усугубила ли и без того тяжёлое состояние нервного больного?

Он же не каждому позволит себя касаться, особенно своей души, не каждому откроется. А передо мной он был совершенно беззащитен. И хотел быть беззащитным.

Влюбился?

О нет, есть тысяча таких историй, и каждая — с плохим или условно плохим концом. Но я сделала всё, я знаю, что сделала всё, чтобы этого не случилось. У меня хватило такта и эмпатии, чтобы не перегнуть палку.

И как мне теперь вести себя с ним? После всего, что было в палатке?

Какая, с этого ракурса, выходит ужасно пошлая история!

Я за час увидела столько, сколько некоторые за всю жизнь не узнают. Я устала. Я ужасно устала. Мне надо подремать... Хотя бы часик...

Кто-нибудь точно разбудит вовремя...

VI.

Мы больше не останемся наедине. Никто из нас не заикнётся про ту самую ночь. Но случится удивительное, что постепенно будет заглушать мой страх.

Страх педагогической ошибки.

Арсений станет спокойнее. Он начнёт понимать эмоции других и перестанет давить на больное, даже если сильно захочет. Он научится говорить о своих проблемах, чтобы ему могли помочь. На финальном концерте он будет звездой сцены и помирится с Тимофеем и Настей.

Он бросит курить и будет пить гораздо меньше. Суицидальные мысли исчезнут из его головы. Надеюсь, навсегда.

А ещё, когда мы вернёмся домой, он сыграет мне глупую «Неаполитанскую песенку», потому что запомнил, как я её люблю (и что на фортепиано умею играть только её). Я промурлыкаю под неё глупенькие куплеты о Перми, которые мы здесь вместе придумали.

В октябре он позовёт меня на концерт нашей любимой группы, и я, конечно, соглашусь. Я его уже не боюсь.

Мы обнимемся, как старые друзья, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Мы бок о бок простои́м весь концерт и от всей души оторвёмся. Это лучше, чем сеанс у психотерапевта.

А потом он скажет самые главные слова.
«Если бы не та ночь в палатке, когда ты не испугалась, когда просто слушала меня, когда говорила со мной, когда касалась, убеждая, что всё хорошо, что я не один. Когда увидела и поняла. Я не знаю, что было бы сейчас. И был бы я сейчас».

И страха больше не будет.